

Камилла Леонарди

САМЕЦ

СЕДЬМАЯ КНИГА



Камиль Лемонье

Самец

«Седьмая книга»

1881

Лемонье К.

Самец / К. Лемонье — «Седьмая книга», 1881

Крепко сколоченная проза Камилле о животной, безумной любви-страсти двух необузданных сердец – полудикого лесного «тарзана» Гюбера, больше известного под кличкой «Ищи-Свищи» и распустившейся розой, юной фермершей-сельчанкой по имени Жермена. Дикая, животная страсть охотника-самца и созревшей женщины, мечтающей о семейном счастье, уже на старте обречена на вечную битву между полами...

© Лемонье К., 1881

© Седьмая книга, 1881

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	20
Глава 5	22
Глава 6	25
Глава 7	28
Глава 8	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Камиль Лемонье

Самец

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава 1

От земли поднялась прохлада, и внезапно тишина ночи нарушилась. С небосклона медленно прокатился глухой шум, скользнул по лесу, заглянул в чашу и замер в трепете юной листвы. Снова воцарилось великое молчание. В воздухе почувствовалось как бы желание вновь погрузиться в глубину сна. Буки снова застыли в своей суровой неподвижности. Покой охватил листву, травы, жизнь, которая готова была пробудиться в бледной тени. Но лишь на миг. Опять поднялись шумы, на этот раз сильнее. Суровость спавших очертаний оживил пробежавший ветерок; до всего как бы коснулись рассеянные руки, и земля вздрогнула.

Занималось утро.

Вершины деревьев выплывали из мрака с наступлением света.

Бледный свет залил небо. Сияние все расширялось; точно утро, стоявшее в ожидании по ту сторону ночи, послало вперед своего вестника света. Отдаленная и полная торжественности музыка загремела теперь в чаще леса. Молочно-белый свет прорвался, как поток из открытых шлюзов. Он разливался между ветвями, проникал в листву, скользил по склонам, покрытым травой, и медленно гнал сумрак. Прозрачная пленка легла на кустарники; листья словно сквозь сито пропускали свет дня, разбивая его на множество светло-зеленых пятен. Серые стволы деревьев напоминали священников в ризах, окутанных во время шествия клубами ладана. И мало-помалу все небо озарилось полосками чистого серебра.

В кудрявой листве пронеслось смутное и неопределенное шептанье. Раздались в зеленой чаще тихо перекликавшиеся голоса. Завострились и защелкали клювы. Впустились перышки и замелькали среди трепетавших листьев. Лениво захлопали крылья. И сразу нахлынул широкий поток шума, заглушившего шепот ветра. Трели малиновок отвечали друг другу через ветки; чирикали зяблики. Вяхири нежно ворковали. Деревья наполнились переливами рулад. Проснулись дрозды. Сороки болтали, и вершины дубов оглашались гортанными криками ворон.

Все эти ликующие звуки приветствовали встававшее солнце. Бледно-золотой луч рассек небосклон, подобно блеснувшему на миг копыю. Заря скользнула по лесу, рассыпавшись вспышками искр, как попавшее под жернов железо. И ослепительное сияние озарило верхние ветви, заструилось вдоль стволов, загло воды в глубине лужайки, и фиолетовый пар расстился по лицу земли. Края высокого леса, казалось, дымились вдали розовым туманом. И вся равнина была усеяна цветущими деревьями, которые с каждым мигom освещались все сильнее и сильнее.

Нега охватила все предметы. Листья развернулись. С шелковистым шелестом раскрылись чашечки цветов. Обращаясь к свету, то и дело колебались ветки. Деревья обнимали распростертыми ручьями, как руками, наступавшее утро.

Внезапно солнце разорвало свод неба. Тень, казалось, убегала в беспорядке. Свет распространялся целыми снопами, стремительным потоком заливая все отверстия, застилая кустарники, обдавая пространство величественным дождем брызг. Поверхность почвы сверкала светло-розовым блеском. Источник света, поднимаясь над вершинами, достигал садов и ферм, озаряя розовой белизной всю окрестность.

Ко всему этому шуму присоединялись звуки, вылетающие из гнезд. Пернатое царство оглашало лес. Стрекот и чириканье образовывали звучащую дорожку от дерева к дереву.

Свистали дрозды, балабокали сороки, перекликались снегири; конопляночки, зяблики, малиновки, красношейки подзывали друг друга, голосисто переливались, прищелкивали, изумительно трещали, и резко каркали вороны.

И весь этот шум стоял в воздухе, то ослабевая, то вновь раздражаясь, и вслед за тишиной вдруг опять раздавался полный оркестр голосов, звучащих в унисон.

В эту симфонию звуков кукушка вставляла свою резкую ноту, как бой стенных часов, выбивающий первый час дня, и тотчас же из чащи листьев поднималось протяжное гуденье. Жужжали серые мухи с голубыми брюшками, плотно прижимались к клейкой коре, и пьяные вчерашней оргией трутни и алчные пчелы гудели, сложив свои крылья. Вся эта огромная стихийная жизнь в конце концов разбрелась по всей окрестности в блеске утра.

Постепенно лиловые облака растаяли в перламутровом жемчуге неба. Солнце поднялось выше, и под его лучами забродили соки и лопались оболочки почек.

Среди этого ликующего мая лежал молодой крепкий парень на спине, под которой земля осталась сухой, и обе руки положил под голову. Его тело облекала блуза, из-под которой виднелась холстинная рубашка. Ноги были босы, и около лежали широкие башмаки, подбитые блестящими гвоздями.

Он спал глубоким предрассветным сном земли. Между тем, как деревья и животные пробудились, великое оцепенение ночи окутывало еще эту фигуру, слившуюся с природой. Он спал без сновидений, счастливый и спокойный, убаюканный дыханием ветра.

Внезапно солнце озарило кустарники и обдало неподвижное человеческое тело. Оранжевые лучи сиянья зажгли его загоревшую кожу, заиграли в его черной бороде, легли двумя пятнышками на смуглых ореолах его груди. Он сделал движение, повернулся набок, и хотел снова заснуть. Но солнце, скользнув по ресницам, коснулось и глаз. Он присел, и его серые лукавые глаза открылись.

Между тем, как он оглядывался вокруг себя, прохлада земли обьяла его члены сладостным ощущением. Он вдохнул в себя воздух, и ноздри его расширились. Затем резким движением расправил руки и начал без конца зевать.

Перед ним простирался плодовый сад со свешивавшимися кривыми ветвями яблонь. Сад незаметно спускался по откосу до строений фермы, которые выступали скученными рядами, со двором посередине, с пожелтевшими от моха черепицами. Петухи распевали, стоя на навозных кучах, нахваливаясь алыми гребнями, в кругу кур, цесарок и индюшек. Стук деревянных башмаков раздавался по мощеному скотному двору.

Парень лениво взглянул погруженными еще в дремоту глазами на навозные кучи, на кур, на стены фермы. Ворота были настежь раскрыты, пропустив уже коров, которые разбрелись по фруктовому саду. От навозной жижи шла теплота, сливавшаяся с паром, тянувшимся с порогов хлева. Оттуда доносилось мычание оставленных для доения коров, почуявших вблизи луговую траву. Дым вился из крыш клубящимися лентами.

Парень приподнялся. У него появилось бессознательное любопытство все рассмотреть. На фоне голубого неба выступали цветущие яблони. Чудным ароматом дышали их бледно-розовые цветы, свисавшие тяжелыми пучками. Внизу высокая трава блистала слезами росы и серый, чуть видный газ окутывал крыши, навозные кучи, внутренность конюшни.

Стук открываемой ставни заставил парня перевести глаза на эту точку дома. Ставни распахнулись, блестя свежеселеной окраской, и в тусклом полусвете комнаты вырисовалась фигура женщины, разнеженная покоем ночи.

Парень подполз на животе к яблоне и увидел девушку до пояса. Глаза его загорелись жадным огнем: он нашел ее прекрасной. Она заправляла засовы голыми руками, освещенными солнцем, нагнувшись вперед, и, совершив эту работу, встала неподвижно, словно под властью сна, купаясь в ясной прозрачности утра.

Он придвинулся ближе, привлеченный ароматом сна, который шел от неизвестной девушки. Яркий румянец покрывал ее здоровые щеки, загорелые от солнца. Ее гибкая, полная шея покоилась на широких плечах, небрежно скрытых под расстегнутым воротником кофты. В ней была немного грубая, немного дикая пышность дочерей Валлонии с их алчным взглядом. Ее волосы, подобранные в шиньон, развевались на затылке гривой, подобной черному потоку, отливая красным глянцем.

Парень щелкнул языком, призывая ее. Она подняла ресницы, устремила глаза в зеленый свет фруктового сада и увидела его приподнявшимся на локтях.

И вдруг произошло нечто необычайное. Он глядел на нее, выставя широкий ряд зубов. Улыбка играла на его влажных, ленивых губах, и глаза, казалось, заволокли туманом. В нем пробуждался зверь, свирепый и нежный.

Она чувствовала себя желанной и не возмутилась: ее карие глаза охватывали его смело и ласково и, в то время, как он улыбался ей, она спокойно улыбнулась ему в ответ своими красными губами в знак благодарности. Точно утро озарило землю. И смешавшись с розовым сиянием деревьев, с сверканьем трав, со зноем дня, со всем благоуханием и светом, эта улыбка достигла парня. Это длилось одно мгновение, целую вечность. Затем вдруг окно захлопнулось, девушка исчезла. Белизна ее тела перестала оживлять пейзаж.

Парень бросился на землю, подавленный виденьем.

Яблони осыпали его всего медленным дождем тычинок, опьяняя острым запахом.

Возраставшее жужжанье пчел и мух носилось в воздухе. Деревья колебались под беспрерывно сменявшимися стаями воробьев, чирикавших в их бледно освещенных чашах. Вдали по лесу бродил, как кто-то живой, ветер, и продолжительные и глубокие вздохи его нарушались глухим мычаньем быков. По временам фыркала кобыла. Прогоняемые через двор жеребята брыкались с пронзительным ржаньем. Жизнь повсюду была ключом.

Парень как будто пробудился от сновиденья. Он потянулся, тряхнул головой и медленно приподнялся на ноги, желая снова увидеть ее. Из хлева вышла женщина в подоткнутой юбке, неся в каждой руке по подойнику. Синие жилы вздувались на ее шее под льняными волосами, и голые колени обнаруживали искривленность ее ног.

Это не была она. Он равнодушно глядел, как прошла она мимо. Та – другая – одна только занимала его мысль. Потом вышел из хутора высокого роста человек, быть может, ее отец и направился к фруктовому саду. И парень углубился в лес, не желая быть замеченным.

Розовый свет падал с листьев и осенял его. Заложив руки в карманы брюк, он шел, насвистывая сквозь зубы. Порой останавливался, пристально взглядывал в пустое пространство, отрезал ветку или задумчиво ударял ногой по траве. Крякали черные дрозды. Дятел долбил клювом по дереву. Целый дождь кристальных звуков орошал ветви деревьев. Парень не видел, не слышал ничего, испытывая смутное ощущение неудовлетворенного желания, и лишь один облик чего-то белого трепетал перед его глазами. Он неуверенно подвигался вперед, словно в каком-то опьянении, и порой чувствовал потребность рассеять воздух резким жестом.

Он долго шел вперед, задевая за деревья, купаясь всем телом в зелени кустарника, под хлестом гибких веток. Затем вдруг бросился на траву, уткнувшись головой в ладони.

В нем закипела злоба.

Почему не пришла она в сад?

Он взял бы ее за руки, сказал бы ей, что ему надо. Нет, он ее только поцеловал бы. Девки... да, их можно взять только лаской, как птиц клеем, – да, конечно, он ее поцеловал бы. В ее сочные, алые губы... Глупая! А она выскользнула!

Он ударил по земле кулаком несколько раз. Вот что ей следовало бы, как и всей ее породе. Разве мало девок на деревенских праздниках; их можно набрать целую кучу. Они не такие недотроги! Да и подчас такие же смазливые.

Его снова охватило безумное желание. Он вспомнил округлость ее плеч, грезил о бархате ее карего взгляда. Он был пленен любовью, которой дышала ее полуосвещенная фигура, и острое желание мучило его. Он сорвал пучок травы и стал ее жевать, чтобы успокоить ее свежестью разъедающую его похоть. Вокруг знойный полдень навевал дремоту и, казалось, усыплял лес очарованием небытия.

И, как проспал он ночь под покровом бледных теней, так теперь заснул глубоким сном под ярким светом солнца. Кусты простерли над ним свои серо-зеленые покровы. Лепестки

боярышника, как хлопья снега, дождем падали на его волосы. Он снова стал возлюбленным земли! Для него она вязала кружева своей листвы, для него готовила из богородской травы, мяты и лаванды зеленые духи, для него она заставляла петь птиц, стрекотать насекомых, разливаясь шелковым шепотом соки под одеждой из мха.

Когда он открыл глаза, солнце спускалось к закату.

Неуловимые для всякого другого шумы доносились до него из глубины леса. Он почувал как бы суматоху и бегство животных в наступающих сумерках: браконьер проснулся в нем вслед за человеком. Он стал таинственно углубляться по зеленым тропам, с каждым шагом сгущавшим сильнее свои тени.

Глава 2

На заре парень возвратился в сад фермы и лег там.

Бледное сияние тускло освещало, как и накануне, листья яблонь. Петухи вскрикивали среди навозных куч. В хлеве мычали быки. Легкие небольшие облачка скучивались на небе тонкой таявшей дымкой. Вскоре розовый свет озарил серую ткань утреннего неба. Ветер ни единым дыханием не тревожил ни ветвей, ни листья. Они простирались неподвижно, широко раскинувшись, и полная тишина стояла над окрестностью, как остаток ночи.

Но мало-помалу жизнь пробуждалась вместе с солнцем, приводя все в движение. Ожились кишением мурашек травы. Лопались почки. Сочные листья трепетали.словно от судороги всколыхнулся рыхлый и жирный чернозем.

Парень следил за окнами фермы. Они были еще закрыты, и дом, казалось, спал, хотя дым шел из крыши и жизнь охватила дворы. Он набрал камешков, но перед тем, как их швырнуть, задумался. Было слишком далеко, и он подошел ближе.

Вышли коровы вереницей, покачивая головами. Та же пастушка, которую он видел и накануне, гнала их перед собой, покрикивая: «Ну, ну... скорей!», и ударяла ладонью, словно вальком, по спинам тех, которые отставали. Ноги ее казались на траве красными пятнами. Он их не видел.

Стадо перешло через сад, поднялось по откосу, разбрелось пестрыми пятнами по зеленому фону луга; девушка, затворив ворота, вернулась обратно в дом.

Парень вошел в лес. Среди буков возвышался дуб. Парень вскарабкался на него, упираясь ногами и руками, достиг высокого сука и сел на него, свесив ноги. Отсюда ему было видно всю ферму. По двору то и дело шмыгали люди. Он видел, как выносили соломенные подстилки из стойл. Кучи свеженабранного рапса загромаждали сарай, блестя золотистостью серы. И порой очертания чьей-то фигуры несмело и трепетно колебались позади окна в нижнем этаже. Его глаза расширились, жадно стараясь различить в этой смутной тени свою желанную красавицу.

Хлебопекарню затопили, и запах горящего дерева разнесся в воздухе. Из дома послышался голос. От окна отошла чья-то фигура, некоторое время оставалась невидимой в серой тени коридора и выступила, наконец, в полосу света на пороге. Это была она. Он видел, как она перешла двор стройной походкой, неся с легкостью массивные опарницы с блестящим тестом. Ему казалось, что он видит ее в первый раз. Она была высокого роста, широка в плечах, с мясистыми бедрами, и ее голые руки отливали смуглостью спелой ржи. Ее высокую и упругую грудь плотно охватывала кофта из коричневой шерсти. Она вошла в хлебопекарню.

Это был день печения хлебов. Он видел, как она взяла веник, замела золу, резким и звонким голосом выбрала служанку. Одно мгновение – она показалась на пороге, потная и красная от жара печки, и взглянула на яблони, шуря от солнца глаза. Ветви дуба беспорядочно забили. Сидя на суку, парень задвигался и крикнул ей.

Она обрадовалась и, смеясь широко раскрытым ртом, указала пальцем на черную массу, которая покачивалась в ветвях и приветствовала ее широким жестом. Кто-то позвал ее, и она вернулась на ферму.

Время от времени она приближалась лицом к окошку и смотрела, как парень упрямо следил за ней. Это его упорство восхищало ее. Она испытывала влечение к этому неутомимому стражу. И, наконец, пошла к порогу, повернув лицо в его сторону. В зубах у нее покачивалась ветка сирени, – она отняла ее ото рта, прикрыла ею лицо, затем помахала ею в сторону дуба. И это ее движение было полно кокетства.

Гордый и пышный дуб, таивший в себе обилие звуков, блистал под широким сиянием солнца. В чаще его ветвей стояло глухое гудение. В листве жужжали жирные мухи. И дерево казалось человеком, полным мыслей под лучами солнца.

Наступил полдень со всем своим знойным томленьем. Парень услышал звук посуды на ферме, и почти в то же время работники вернулись с поля усталые, с опаленной солнцем кожей. Раздалось продолжительное звяканье вилок среди общего молчания; затем, по истечении полу- часа – стуки деревянных сабо и башмаков, подбитых гвоздями, послышались по двору, незаметно стихая около сарая, и мужики один за другим шли ложиться, усталые и отяжелевшие, на связанные кучи соломы. Ферма засыпала.

Молодая фермерша направилась по тропинке, которая проходила через сад и вела в поле. Большая шляпа из плетеной соломы защищала ее лицо, кидая сероватую полутень на ее щеки. В руках у девушки качался серп. Она миновала вспаханную пашню, обогнула поле ржи и очутилась на лужайке, усеянной люцерной. Девушка шла медленно, походкой крестьянки в знойный полдень, не поворачивая головы, и ее сильные плечи выступали на фоне неба своими твердыми очертаниями. Придя на поле, она опустилась на колени, и лишь тогда взглянула на дуб вдали.

Парня там уже не было.

Инстинкт подсказал ей, что он подходит. Она опустила руки в густую траву и лезвием серпа стала срезать ее. Мешок лежал около нее раскрытый, и по временам она опускала туда пучки люцерны.

Покой распростерся над немой окрестностью. Слышно было только кваканье лягушек в соседнем болоте, и порой эти резкие вскрики затихали и замирали в сонливом воздухе.

Кто-то кашлянул позади нее.

Она быстро повернула голову и увидела его прямо перед собой у края поля с неподвижной улыбкой на лице. Она не слышала, как он приблизился.

Бессознательно смотрела на его ноги, полагая, что он разулся, чтобы незаметно подойти к ней. Но на нем были большие кожаные башмаки на толстой подошве, и, тем не менее, он ступал также беззвучно, как и босыми ногами, и от удивления ее брови поднялись.

Он с нежностью глядел на нее своими серыми глазами. В этом взгляде не было смелости. В нем виднелась застенчивость, и он не смел промолвить слова.

Она продолжала оставаться на коленях с обнаженными руками. Темная и высокая трава доходила ей до пояса. Наклонив немного вбок голову, она осматривала парня, довольная его покорным перед нею видом, и вдруг сразу обратилась к нему на «ты».

– Ты кто?

– Ищи-Свищи, – ответил он.

Она удивилась.

– Ты браконьер?

Он несколько раз кивнул головой.

Тогда она повторила, как бы погруженная в свою мысль:

– Ах... Так это ты Ищи-Свищи?

И он снова подтвердил ее вопрос медленным и продолжительным кивком головы.

Она с восхищением глядела на его грубую красоту лесного жителя. Его квадратное туловище покоилось на широких подвижных бедрах. У него были прямые ноги, округлые ляжки; его колени резко обрисовывались, а руки были мягки и не носили следов мозолей. Она нежно глядела на его кудрявые, черные волосы, спадавшие на узкий лоб, и к этому примешивался еще большой восторг: ведь перед ней стоял не кто иной, как Ищи-Свищи. Это имя навевало страх. Всем было известно, что всюду, где проходил тот, кто носил это имя, – дичь была в опасности. И вот этот страшный человек теперь покорно, как животное, опускал перед нею голову.

Через несколько времени она спросила:

– Почему ты браконьерствуешь?

– Да потому вот, что мне так хочется.

Его робость исчезла. Он продолжал:

– Иные пилят дрова, другие – хлебопашцы, есть еще на свете ремесленники. А я вот люблю зверей.

Он говорил, переступая с ноги на ногу, выпрямившись всем телом и гордясь своим занятием. Она снова принялась срезать люцерну, выставя грудь вперед с каждым взмахом серпа.

– Это дает тебе много денег? – спросила она.

– Иногда – много, а другой раз – немного. Я человек неприхотливый.

Она спросила, как он устраивается с продажей.

Это зависело от обстоятельств. Бывает, что он относит набитую дичь в город с наступлением ночи. У него происходят свидания с купцами. Продажа совершается за чаркой водки. Но случается, что купцы заходят к нему. Хотя это всегда затруднительнее, ибо ему частенько приходится ночевать в гостинице «под открытым небом», исключая дней ненастья, которые он проводит у своих приятелей-дровосеков. В конце концов, все люди на свете оказывались его друзьями. Ни к кому он не питал ненависти, впрочем, если не считать этих разбойников-жандармов. Он говорил о них с презрением, вскидывая плечами.

Ищи-Свищи замолчал. Из осторожности он остановился. Постоянная война с животными приучила его держаться настороже, и он сам был теперь удивлен, что так много наговорил.

– Это я все больше так, чтобы посмеяться, – прибавил он.

Она пристально взглянула на него.

– Ты меня боишься?

– Нет.

– Ты не боишься, что я тебя выдам?

Он вызывающе проговорил:

– О, я-то? Мне это совсем все равно.

Настала минута молчания. Потом он спросил, в свою очередь, ее, кто она?

– Я дочь Гюлотта. И эта ферма наша.

И, обведя рукой кругом, прибавила:

– И вот это все, до самой изгороди, которая вон там виднеется. И еще у нас есть луга по ту сторону пруда.

Он передернул плечами.

– А я все-таки богаче тебя. У меня есть все, чего я только захочу. Если бы нашелся кролик на вашей ферме, он принадлежал бы мне. Я – господин барон всюду, где я бываю, да.

Он спросил, как ее зовут.

– Зачем тебе?

– Да просто так, чтобы знать.

Она звалась Жерменой. У нее были три брата. Младший находился в пансионе; ему шел восемнадцатый год. Он умел играть на рояле. Два старших работали в поле. Она остановилась и вдруг расхохоталась, уперев руки в бока.

– Отгадай-ка, сколько мне лет?

– Девятнадцать, небось?

– Прибавь еще два. Видишь, я уж совсем старуха.

– Ерунда. Это самая настоящая пора для любви, – промолвил он через некоторое время.

– О... для этого-то!

Она подняла голову, казалось, желая сказать, что она об этом совсем и не думала. Но у него была своя мысль. Ревнивое любопытство побуждало его спросить. И он резко вставил:

– Скажи, кто у тебя был первый?..

– У меня?.. Никто.

– Полно. Так ли?

– Правда.

Он решительно приблизился.

– Тогда это буду я.

Она немного привстала, задорно смеясь.

– Ты-то? Ищи-Свищи?

Он подошел к ней близко-близко и, смущенно улыбаясь, нежно произнес:

– Жермена...

Она ждала, смущенная в свой черед. Он не закончил и только смотрел на нее серыми, влюбленными глазами.

– Что?.. – проговорила она через некоторое время.

– Ты знаешь сама, – ответил он.

Она встала, сложила в мешок срезанную люцерну и сказала ему:

– Помоги мне взвалить на плечи мешок.

Он поднял одним движением руки мешок на ее спину и, так как она намеревалась идти, остановил ее за руку.

– И ты так уходишь от меня?

Она перевела на него глаза, и они оба долго глядели друг на друга, улыбаясь, взволнованные, разнеженные одним и тем же чувством.

Краска залила щеки Жермены.

Ищи-Свищи протянул руки. Она выскользнула и пустилась бегом по дороге, которая вела на ферму.

Он стоял и глядел ей вслед. Потом, когда она исчезла во дворе, ушел в лес, раздирая от злости кожу ногтями и браня себя, что так разнежничался.

Глава 3

Ищи-Свищи был истым сыном земли. Его кожа загрубела и затвердела от солнца и стужи, как кора деревьев. Он был коренаст, как дуб, благодаря своему крепкому телосложению, твердости своих членов и широкой ступне, привыкшей к неровностям земли. Жизнь на вольном воздухе закалила его тело, которое не знало ни усталости, ни болезней.

Крестное имя его было Гюбер. Он был самым младшим из трех сыновей Орну. Мать родила его во время одного привала в лесу. При первом вскрике, с которым он ворвался на свет, его отец узнал в нем свой род. Орну были рослые молодцы и не боялись ни Бога, ни черта. Мальчик бойко вступил в жизнь, как маленький молодой зверек.

Частенько ласкали его мозолистые руки, укачивали с грубоватой нежностью, и его дикие глазки смотрели тогда на родные лица, затверделые и закопченные, как пни в костре пастухов.

Но всего чаще он покоился зимою на сухих листьях, а летом – прикрытый стеблями трав, не слыша иной колыбельной песни, кроме ветра, то угрюмого, то мягкого, подставляя свое голое тельце укусам мух, лапкам навозных жуков и солнечным лучам, которые мало-помалу дубили его детскую нежную кожу.

Однажды после полудня Орну положили его под дерево на лужайке, в прохладное мшистое место. Им нужно было нагрузить воз сучьев для одного крестьянина и они оставили ребенка под охраной неба. Три часа спустя они вернулись, но не нашли его. Они, не спеша, без волнения осмотрели окрест и были уверены, что ни зверь его не мог утащить, ни какое-нибудь человеческое существо похитить в этой чаще леса, населенной лишь зайцами да сойками.

Ребенок пополз на животе, цепляясь руками за корни, и нижние ветки кустарника до впадины на косогоре. Что-то выскочило оттуда, привлекая его внимание: это была рыжеватая дичина, похожая на ту, что иногда приносили его отец и братья. Животное проскакало немного по траве и затем юркнуло обратно к себе. Гюбер подполз к норе, удивленный и восхищенный, подстерегая эту дикую игрушку, вздрагивая всем своим маленьким тельцем.

Родители нашли его в конце перелеска, где из какой-то впадины торчали только одни его ноги. Ему было тогда пятнадцать месяцев. Это служило как бы предзнаменованием его будущей страсти к животным. Однажды при виде заячьей шкуры он с жадностью протянул руки и принялся реветь, чтобы ему дали ее, размахивая в воздухе ручонками, и в его маленьком сердце возникала дикая страсть к этой тепловатой мягкой шерсти. Пришлось отдать ему ее, и тогда его лицо осклабилось улыбкой, обнаруживая острые зубенки. Он схватил кожу, стал вырывать клочьями шерсть, выказывая кровожадную, первобытную радость, терзая этот безжизненный кусок тела.

Дровосек Орну, сухой и худощавый старик с журавлиными нестойкими ногами, которые грозили распасться, смеялся широким и беззвучным смехом при виде этой жажды истребления и порой, дружелюбно настроенный, выражал предположение, что малыш пробьет себе в жизни дорогу ножом и топором.

Для этого человека, прожившего всю свою жизнь в уединении бок о бок со своей бабой, бравшего свою пищу, где находил, лишённого всякого понимания добра и зла, но смутно понимавшего, что земля для всех, – как воздух, дождь и солнце, – для него высшими качествами человека были сила и хитрость, способные вызывать страх. Он не придавал большого значения человеческой жизни и, если сам не убивал, то потому, что не был вынужден к этому. Его общественная отчужденность, приучив его быть скрытным, но не из трусости, заставила его вести нелюдимую жизнь в счастливом сознании, что его сын Гюбер уже без зазрения совести выпустит заряд в тех, кто вздумает ему препятствовать жить по своему нраву.

Гюбер с очень ранних лет проявил себя жестоким разорителем гнезд. Лазить по деревьям, карабкаться с ветки на ветку, взбираться на самые высокие суки и раскачиваться там под

порывами ветра или подкарауливать свою добычу в углублениях ствола – было для него забавой. Он спускался с деревьев, обхватив ствол одной рукой, зажав в другой пищащих птенчиков, и медленно, изгибаясь, подобно пресмыкающемуся, которое извивается, скатывался вниз, падая на ноги, нисколько не потревожив гнезда.

Лукавый и хитрый, он научился вскоре раз узнавать привычки разных пород также точно, как свои пять пальцев. Он знал, когда самки отправляются за пищей, когда выводят яйца и когда кончают высиживать их, высчитывал в своем уме с точностью до одного гнезда, сколько птиц можно найти в той или иной роще.

Окончив свою охоту, он приносил добычу матери. Она брала птичек, сворачивала им шейки и жарила их на костре. Их тощие тельца исчезали в широких пастьях под прожорливыми зубами семейства Орну.

Он охотился также за мухами, бабочками, майскими жуками, раздавливая их, обрывая им крылышки, истязая их. Все, что было жизнью, возбуждало в нем глухое ожесточение. Порхало ли перышко в воздухе, слышалось ли шелестенье в траве или внезапный взлет дичи – все вызывало в нем жажду преследования. Бывая вблизи пруда, он затаивался в тростнике, оставался там целые дни, суровый и молчаливый, занятый только избиением лягушек. При каждом миганьи их зеленых спинок всхлестывал прут, разбрызгивая воду; они расплющивались, и лапки их вздрагивали, а в больших круглых глазах стоял тупой ужас.

Иной раз, чтобы разнообразить свои забавы, он ловил лягушат посредством небольших лоскутков красной материи, нанизанных на палку, бешено радуясь тому, как они прыгали за лохмотьями, и когда зацеплялись за них, он резким движением тащил их к себе, приканчивал их сухим ударом головки о камень, пень или край своего сабо. Он убивал их таким способом в удачные дни до одной или даже до двух сотен. Он усвоил уже себе хитрости охотника. Ходил на цыпочках, высоко поднимая ноги, боясь произвести шум, стоя неподвижно настороже целыми часами, не шелохнувшись. Чуть появлялась добыча, его решение было также быстро, как тщательна осторожность: он ударял начисто, без пощады.

Таковы были его первые подвиги. Он жил в полнейшей свободе на вольном воздухе, убегая по утрам, возвращаясь ночью, а порой проводя всю ночь, бродя по лесу, очень мало бывая у своих родителей, которые оставляли его на произвол судьбы, совершенно к нему равнодушные.

Орну жили зимой в лачуге из глины, смешанной с соломой, на опушке леса. Небольшое оконце, пробитое в стене, пропускало тусклый свет дня в низкую комнату, разделенную сгнившими перегородками, над которыми помещался чердак с деревянными койками с насыпанными на них кучами сухих листьев, где спали мальчики. Позади дома помещался навес, куда складывались топоры, мотыги и кирки.

Летом помещение это покидалось. Семейство удалялось в самую глубь леса, и там обматывало глиной шалаши, сплетенные из прутьев. И после того начиналась вдаль от деревень, в уединенности древесной гущи, тяжелая трудовая жизнь, прерываемая краткими передышками на знойном полуденном солнце или сном во влажной прохладе ночи. Редкий дымок взвивался от сучьев, которые зажигали у входа в шалаш, чтобы варить суп из овощей, и суровые лица со складками на лбу от трудового дня склонялись над мисками, перебрасывались немногими краткими и невеселыми словами, достаточными лишь для выражения семейных чувств. В течение дня глухие удары топора одни раздавались среди беспредельной тишины леса. И так тянулись дни до осенних туманов.

Лес для ребенка представлял постоянно множество искушений. Он жил на деревьях и в кустах вместе с животным царством, наполнявшим их. Он сам был молодым животным, вскормленным соками земли. Солнце падало на его обнаженные плечи. Дождь пронизывал его до костей. Он блуждал от зари до зари. Терновник ранил его ноги, но он не чувствовал порезов и ссадин; и в двенадцать лет был похож на двадцатилетнего парня.

Как сладкое лакомство были для него роса утра, освежавшая его растрескавшуюся кожу; дуновение ветра, нашептывавшее ему в уши колыбельные напевы; наступление ночи с ее сонливую дремотой. И он испытывал безмолвную радость всем своим существом. Подобно тому, как дерево сразу всеми своими ветвями погружается в сияющие небеса и ненасытно втягивает в себя и ветер, и теплоту, и тени, так и он впитывал в себя природу, живя полной и вольной жизнью.

Этот бродяга был в лесу, как у себя дома, смутно чувствуя движение чего-то в тени, не зная именно чего, – жизни ли, созданий, субстанции ли, какой-то трепет дикого и милого мира. Понемногу истребление птиц уступило место более смелым кровопролитиям. Почувствовав, что клюв его заострился и когти отросли, мальчик стал искать другой, не такой податливой добычи и принялся преследовать ее со всею силой мужчины. Он покинул высокую листву, проникнул и обшарил лесные чащи и так же, как гнезда, разведаль норы и логовища. В его существе обнаруживалось лукавство дикаря, способное перехитрить животное. Он был необычайно терпелив и наблюдателен, застывал, как вкопанный, в засаде. Одни дикие глазки его страшно вращались и упорное стремление стать ловцом этих блуждающих в лесной чаще созданий охватывало его.

Охотиться – это значит иметь ружье. Когда наступало время охоты, всюду раздавались ружейные выстрелы. Раз он увидел, как два зайца полетели кувырком от одного выстрела. Мысль, что ружье заключало в себе уничтожение того, что есть жизнь – пронизала его мозги, как сладострастие. И, немного спустя, он сделал себе пращу и играл с нею с невозмутимой уверенностью. Его нервные плечи сообщали сильный толчок инструменту, который вращался, скрипел и кидал камень прямо в цель. Животное падало, судорога сводила ему спину, а его охватывала волнующая радость при виде, как оно билось, извергало слюну, хватало зубами воздух и выпрямлялось, наконец, в последних спазмах, превращаясь в труп. Он убивал таким образом ласочек, хорьков, полевых мышей, зайцев, белок.

Однажды он чуть не попал в дикую козулю, но животное быстро скрылось, отпрыгнув одним скачком в сторону. Камень ударился в дерево настолько сильно, что посыпались листья. И мальчик стоял бледный, разведя руками, под впечатлением этой великолепной бурой одежды и округлого стройного тела с грациозными движениями человека.

Под конец его желание иметь ружье осуществилось. Не будучи в состоянии приобрести, он украл его. У одного крестьянина, покупавшего у них дрова, имелся карабин, висевший целые дни на крюке в углу очага. Мальчик спрятался за плетень, дождался, когда вышел крестьянин, и завладел ружьем.

Это было неожиданной радостью. Он вертел карабин туда, сюда, заглядывал сверху, снизу с kloкочущим от радости горлом, волнуясь, и, нажав на собачку, сам не подозревая того, выстрелил вдруг так, что рассыпавшаяся дробь изрешетила листву орешника.

Так вот в чем дело! Он приберегал второй заряд на случай. Последний не замедлил представиться вечером того же дня под видом небольшой очень стройной козочки.

Животное переправлялось через овраг короткими скачками с легкой размеренностью танца, высоко вздернув головку. В зеленой тени, немного дальше, стадо коз расположилось около болота; их привлекала туда прохлада среди шептавшего шелеста леса.

Он прицелился.

В воздухе раздался треск и удар. Сквозь синеватый дымок он увидел тогда бешено скачущее впереди себя стадо животных, убегающих врассыпную, а он стоял неподвижно, приложив приклад к щеке, ничего не видя и не слыша, словно ошеломленный собственным могуществом. Когда его смущение исчезло, он побежал туда, куда стрелял. Козочка ускакала: он промахнулся.

Он рассудил, что метился слишком низко, и долго думал, как бы научиться стрелять, как вдруг из глубины леса раздался шум голосов. Он разглядел взволнованных людей, шедших

большими шагами через кустарник, и один из них, у которого висела сбоку охотничья сумка, а в руках было ружье, подошел к нему и спросил, не видал ли он кого-нибудь. Это был лесник.

– Нет, – ответил очень спокойно мальчуган, насвистывая сквозь зубы.

С проворством он успел спрятать ружье в листья. И люди прошли мимо, не подозревая, что этот мальчуган был уже охотником.

Он знал теперь много разных вещей: во-первых, как надо пользоваться ружьем, во-вторых, что при выстреле бывает шум и, наконец, что этот шум привлекает людей. посмеивался про себя: на будущее время он будет хитрее.

Он раздобыл себе порошу и стал постреливать в тиши, но порох производил глухой удар, подобный ракете, и не ранил жертвы; он подсыпал туда мелких камешков, и его жертвы падали, но изредка, тогда как оставшиеся в живых улетали, расправляя насмешливо свои крылья. Стало быть, этого еще не было достаточно. И раз, когда он был поглощен своими разведками, подошел к нему его отец и, увидев его лежащим, а рядом с ним ружье, промолвил:

– Эх ты, нешто заряжают камнями? Надобно дробью.

Ребенок, ожидавший гнева со стороны отца, увидел выражение нежности на черством лице старика.

Однажды в воскресенье отец его отправился в город до рассвета и дорогой восхищался этим из молодых, да ранним, – плотью от плоти своей, кровью от своей крови. Даже лес слышал его дикий, веселый смех отшельника. В полдень он возвратился, принеся порох и крупную дробь.

– На-ка тебе, молодчага, – сказал он Гюберу. – Это тебе для забавы. Козули ходят по тридцати франков, а за зайцев дают по четыре, а то и по пяти. Но не забудь, что есть и жан-дармы, лесники и прочие каналы. Надо держать ухо востро.

С этого дня мальчик стал браконьером. Он начал стрелять ради денег после того, как стрелял ради удовольствия, получая столько-то и столько-то с головы, и его ловкость стрелка возрастала с каждым годом. Он сделался вскоре наводящим страх врагом, окружавшим сетями своей хитрости берлоги и норы за много миль вокруг.

Двадцати лет он покинул родной лес, обошел всю страну, перескакивая легким прыжком через низкие и пузатые заборы ограждений, минуя дровосеков-крестьян, перелезая через ограды владетельных сеньоров, где прекрасные заповедные леса приводили его в восторг. Тогда он не стал больше размышлять, вступил в чужие владения и начал добывать то, что мог поймать.

Теперь он уже был парнем геркулесовского сложения, с ногами, точно созданными для бега, с лошадиными легкими и с кулаками, способными усмирять быков. Во время деревенских праздников ради спора он забавлялся подниманием телег, напрягая лишь свои железные спинные мышцы, и, когда случались драки, все разлеталось вдребезги под градом его ударов.

У него были покупатели, и он хвастался перед ними своею честностью. Его уважали за его широкий размах в делах. Он сам иногда, для вящего озорства, носил в город свою дичь, чокаясь чаркой во время пути с лесниками, которым он насмешливо предлагал поставлять дичь к столу их хозяев.

– Для облав надо десять-двадцать охотников, – говаривал он, – а я охочусь один-одинешенек! К тому же я знаю по имени каждого зверька. Я просто подзываю их к себе, и они бегут ко мне, как к своей матке!

Он издевался над охотниками, над лесниками и жандармами, предлагал им, ради смеха, дробь, если когда-нибудь они подойдут к нему слишком близко, и, под конец, показывал им свои голые руки с мускулами, перекачавшимися, как ядра.

А между тем, за ним очень следили. Лесничие в один прекрасный день вчетвером задумали его поймать. Он взобрался на дерево, следил за каждым их движением, слышал все их планы и вдруг крикнул им сверху:

– Ищи-свищи!

Эта кличка и утвердилась за ним и стала мало-помалу знаменитой. Ее произносили в охотничьих рассказах, за винными стойками, за вечерним столом на фермах, вместе с остро-тами над жандармами, если это были беседы крестьян, или руганью против браконьерства, если вели разговоры лесники. И известность Ищи-Свищи все возрастала, благодаря невозможности изловить его, непроницаемости его убежища, во время его отступлений, и целому хвосту легенд, героем которых являлся он.

Деревенские жители любили его, чувствуя, что он с ними заодно в их глухом мятеже, в их затаенном озлоблении против властей. И для Ищи-Свищи всегда была готова теплая солома хлева в дни, когда он приходил за ночлегом на фермы, и всегда к услугам – большие краюхи хлеба, кружки пива и вволю кофе. Наконец, он ведь зарабатывал деньги, и крестьяне с волнением глядели, как блестели светлые монеты в его руках.

К лесу он сохранил свою прежнюю детскую любовь. Но с той поры, как он узнал веселые пирушки, кутежи удерживали его в кабаках, и он, играя в кегли, бражничал, потешался, заводил пари. У него была задорная натура и размашистая душа валлонца. Его раскатистый мальчишеский смех сделался веселым и звонким, как медь. И этот смех, вылетая из его груди часто и мощно, всегда господствовал над шумом и возгласами собутыльников под сводчатым навесом кегельбана, где катали шары.

Но эта кипучая жизнь уходила в самую глубь его существа каждый раз, когда он бывал в лесу, подстерегая добычу, расставляя силки и тенета, неподвижный, как деревья, и улавливая своим ухом, подобно слуховому рожку, как сатир, признаки великого смутного шума, который носился среди тусклых сумерек.

Состарившись, отец Орну жил постоянно в своей лачуге на краю леса. Его прямая, длинная фигура начинала горбиться, выступая в высоких и угловатых очертаниях скелета, и он передвигался с трудом на отяжелевших от ревматизма ногах. Не в силах уже взбираться на деревья, он раскалывал бревна, распиленные его сыновьями, делая из них поленья и складывая их в кучи. Но мало-помалу у него уже не стало хватать сил и на эту работу, и он переносил только сучья и хворост, ступая медленным, колеблющимся шагом под тяжестью ноши.

Один из его сыновей женился. Сумрачная лачуга приняла вид гнезда, и дедушка, с каждым месяцем все более дряхлевший, стерег теперь детей, защищая ветхостью своих дней их маленькие жизни. Лес мстил ему за причиненные обиды, высасывая из него силы, как из старого ободранного пня. Шаг за шагом он близился к смерти, и члены его охватывало уже тление могилы.

Однажды Ищи-Свищи, войдя в лачугу, нашел старика на ложе из листьев с непомерно раскрытыми, стеклянными глазами.

Для этих жителей леса тяжело было примениться к предписаниям закона. Они вырыли бы, согласно своему инстинкту, могилу в чаще леса, опустили бы туда тело, вместо того, чтобы бежать в мэрию, пройти через кучу формальностей и затем отнести труп на общественный погост.

Братья сколотили гроб из досок, положили умершего на дно в листья, затем все вместе, в том числе и Ищи-Свищи и старая Орну, понесли гроб.

Мать не плакала. Ее жесткое, деревянное лицо высохло, как бочарные доски под лучами солнца. И она шла, сухая и прямая, слегка склоняясь под тяжестью трупа. Эта небольшая кучка людей затерялась в голубоватом утре леса при единодушных кликах дроздов, как бы отдававших последний привет уходящему из мира.

После того, как они покинули кладбище, младший сын устроил выпивку. Никогда раньше не угощал он своих, хотя деньги ему так легко доставались. Впрочем, он был щедр. А эти бедняки, нуждаясь в очень малом, не требовали ничего, и раньше он им ничего не давал. В

этот день он напоил своих братьев допьяна, женщины пили тоже. Он хотел бы напоить всю деревню, желая устроить что-нибудь для усопшего.

Одна только старая Орну не притронулась к своему стакану. Она сидела все время неподвижно, сложив на колени руки, тускло глядя около себя в черную пустоту, оставленную покойным. С наступлением вечера, когда сыновья покойника захрапели мертвецки пьяные, Ищи-Свищи взял одного, а старуха – другого. Она взвалила его на свою спину, как мешок, и отнесла к себе, согнувшись в три погибели, плотно обхватив руками его ноги. Она вошла с сыном на спине в дом, откуда вышла утром, неся на плечах мужа. А несколько дней спустя умерла и она сама, без болезни, как умирают самки, когда нет в живых самцов.

Ищи-Свищи зажил по-прежнему.

Люди не посещают кабаков, не спознавшись с девками. Расцвет весны разлился пламенем в его жилах. Ищи-Свищи приближался тогда к хлевам, к порогам домов, у которых болтали по вечерам девки с красными руками. Это толстокожее существо удовлетворяло свои аппетиты человека, для которого любовь есть жранье за столом шинкаря. Он никогда ничего не испытывал, кроме минутной животной страсти. Нежности он не ощущал.

Время деревенских праздников было для него благоприятным случаем позабавиться с бабами и девками. Он ставил им бутылку, целовал их, выделявая антраша, и после кадрил и уводил их под забор. Ему было достаточно, чтобы они были полные и пухлые, с блестящими зубами. Продолжительных связей у него не было.

Тогда-то именно он и увидел улыбку Жермены в улыбке веселого месяца мая. Как бело-снежные цветы яблонь, расцвела в нем любовь. Это чувство пустило, как семя, росток, разлилось, как соки, и заполнило его с ног до головы безумием.

Он полюбил ее, не сознавая, сквозь дождь цветочных тычинок, сквозь полет пчелок и бабочек и розовую белизну утра, как воплощение всего того, чего он желал на земле, как тень деревьев, как убийство, кражу и свободу.

Он любил ее, как редкую и трудноуловимую дичь, как необычайную добычу, и чувствовал, как в нем растет страсть к ней при мысли о том, что она девственница, т. е. что ее охраняют, как заповедные леса, через ограды которых он перелезал для охоты.

Глава 4

Ищи-Свищи принялся бродить вокруг фермы, подобно ястребу, который постепенно сокращает круги над своей жертвой. Он приостанавливался за оградой заборов, таскался по краю леса, ждал ее, присаживаясь под ветвями деревьев. На поворотах извивавшейся тропы он как будто замечал краешек ее платья, и это возбуждало его желание. Более упорное чувство победило его необузданную страсть разрушения. Он пренебрегал ночлегами и логовищами. Рыжеватая заячья шерстка не вызвала ружейного залпа, разбивающего спинные позвонки и раздирающего тело на куски. Его карабин покоился в тайном месте лесной чащи.

Он скоро стал разбираться в заведенных обычаях фермы.

На заре кто-то выводил коров из хлева пастись. Там было два пастбища: одно – где фруктовый сад, другое – на лужайке возле леса. Иногда коров уводила Жермена. Он следовал за ней два раза. Они обменивались незначительными словами, перекидываясь улыбками, счастливые встречей. И недалеко от фермы она внезапно просталась с ним. «До свиданья», – кричала она ему.

После полудня она шла в поле. Сажали последний картофель. Гюлотт нанял для этой работы женщин, и среди них была и она, работая наравне с ними, сгибаясь над бурыми земляными дырками.

Целыми днями он высматривал ее, сидя неподвижно за деревом или кустами, внимая голосу осторожности, советовавшему ему не показываться. Она ходила по распаханным грядкам с корзиной картофеля у самого бедра, вынимая оттуда и бросая перед собой картошку. И в этом повторявшемся жесте было что-то величественное. После этого одна из женщин засыпала дырочку землей взмахом лопаты.

Он восхищался движениями крупной фигуры Жермены в теплой вечерней мгле. По временам она выпрямлялась и, уперев руки в бока, стояла усталая, освежаясь под порывом ветра и шуря от солнца глаза.

Однажды он крикнул по-совиному, чтобы она повернула голову в его сторону. Она заметила оживление в деревьях леса и, угадывая, что он находился там, помахала рукою над своей головой. Тогда он стал ржать дробным ржанием жеребят.

«Какой он смешной», – подумала она.

Когда солнце показывало на небе четыре часа, женщины вернулись на ферму без нее. Ей не хотелось есть: она предпочла продолжать посадку картофеля. Работа не спорилась. Было еще и другое основание остаться в поле. Женщины ушли.

Ищи-Свищи спустился со своего дерева. В несколько шагов он был возле нее.

– Это ты?

– Да.

– Что ты делал на дереве?

– Ничего.

– Ну да...

– Что?

– Ты глядел на меня, вот что!

Он потряхнул головой.

– Да, это правда.

Она смерила его странной улыбкой и сказала:

– Бездельник ты! Хороша твоя работа! Ничего не делать целый день и только подсматривать за девушками.

Он искал подходящего ответа.

– Я, – промолвил он, – за ночь наработаю столько, что могу ничего не делать три дня. Да и нравится мне смотреть на тебя. Я это люблю больше, чем наминать себе ноги.

Она ему сказала, что любила бегать по лесу, когда была молода, но это приходилось ей довольно редко, так как против этого был ее первый отец. И вдруг на ее лицо набежала веселость.

– Ах, да, я тебе не сказала: мой отец был лесничим.

Он подумал, что она над ним смеется. Тогда она ему рассказала, что мать ее вышла замуж за фермера Гюлотта. Лучшая пора ее жизни протекла на ферме. Совсем маленькой она не была счастлива, – не потому, что ее отец был не хорош с ней, нет, но у него было всегда немного мрачное настроение, как у людей, живущих в лесах. И, сказав это, она бросила на него взгляд, приглашая его говорить.

– О, я, – промолвил он, – я добр и мягок, как хлеб. Я и не знаю вовсе, что значит сделать кому-нибудь зло.

Он хвастался, пускаясь в непомерное восхваление своего характера. И он прибавил, что та, которая его возьмет, ясно увидит это. Затем, когда Ищи-Свищи оправился от удивления, узнав, что она – дочь Мокора, тогда как думал, что она плоть и кровь Гюлотта, он принялся смеяться мелким и глухим смешком.

– Вот тебе и раз. Вот так история! Если бы отец твой был в живых, я, может, стал бы в него стрелять.

Она выпрямилась, уязвленная его отношением к дорогому ее памяти отцу.

– Это был человек настоящий, да, – твердо произнесла она. – Он раздавил бы тебя, как пададь.

– Очень просто, – ответил он, поняв, что зашел слишком далеко, и стал говорить о другом.

Начался разговор о деревенских праздниках. Он спросил ее, любит ли она танцы, и так как она ответила да, он продолжал:

– Я – тоже. Во время танцев можно и скакать, и делать глупости, и целоваться. Мы будем целоваться. Мы будем целоваться? Ладно, Жермена?

– Почему знать!

Он приблизился к ней и, потянув ее за руки, изо всей силы чмокнул ее в щеку.

– Это делается таким манером, – сказал он, смеясь.

– А это вот так, – возразила Жермена, ответив ему широкой пощечиной.

Краска гнева залила ей щеки. Она рассердилась на него за то, что он оказался сильнее ее, овладев ею врасплох, иначе бы...

Он уставил на нее свои горящие серые глаза.

– Не хочешь ли повторить, Жермена? – сказал он.

Она не могла сдержать смеха.

– Нет, – возразила она, – а то все так бы и пошло без конца.

Приближались чьи-то голоса.

– Еще один только разок, – говорил Ищи-Свищи и шел на нее с раскрытыми объятиями и расширенными ноздрями.

– Попробуй, – воскликнула она, схватывая лопату.

Он отстранил сухим ударом руки лопату и прикоснулся губами к теплой коже Жермены.

– Сатана, негодяй, – крикнула, разозлившись и смеясь, Жермена.

И кинула в него лопатой, не задев его. Он побежал широкими шагами, согнувшись вдвое, с головой на высоте бедер, как преследуемые браконьеры. И из лесу пустил ей звонкое кукареку.

Женщины подходили.

Жермена глядела перед собой долго-долго, погруженная в мысли.

Глава 5

Как Жермена сказала Ищи-Свищи, она была дочерью лесничего Нарцисса Мокора, убитого молнией почти пятнадцать лет тому назад в лесу Дубняков.

Она провела первую часть своей жизни в печальной, строгой и чопорной сторожке в постоянной близости со своей матерью, женщиной, любившей порядок, которая еще по смерти Мокора была самой красивой женщиной в краю. Лесничий почти весь день проводил, охраняя государственные леса, а они оставались совершенно одни в этом домике, прилегавшем к лесу, следя сквозь спущенные занавески за колебанием деревьев, сиянием солнца и накрапывающим дождем.

Отец возвращался в полдень. На некоторое время дом оживлялся звоном посуды. Под дубовыми потолками пробуждалась с шумом жизнь, мелькавшая по стенам, оклеенным обоями с голубыми цветочками, и мать, лесничий и дочка усаживались за один стол, словно изумленные, что находятся вместе.

Ни малейшая веселость не нарушала мирного жития этих трех существ, живших вместе два-три часа.

Нарцисс Мокор – по характеру меланхоличный и нелюдимый – любил свою жену и дочь ровным чувством, затаенным в самой глубине души. Он жил среди них, уйдя в самого себя, с приступами подагры при переменах погоды. Застыв неподвижно, положив ноги на скамейку, он сидел так у очага, глядя на подходивших к нему Мадлэну – его жену, и маленькую Жермену, не говоря ни слова, и дни непомерно тянулись длинной чередой. Постепенно семейную жизнь обдало ледяным холодком, и только между матерью и девочкой установилось более живое чувство, проявлявшееся сильнее, когда отсутствовал отец.

При выходе замуж Мадлэна принесла в приданое поле, немного мебели и постельное белье с накладками. У Нарцисса же был дом, который он получил от отца, бывшего лесничим, как и он. И, благодаря умелой хозяйственности, довольство осенило этот дом, заботливо содержимый, фасад которого, выбеленный известкой, говорил о внутреннем благоустройстве.

Жермене было шесть лет, когда, с наступлением ночи, в одну субботу июля месяца, дровосеки принесли на сплетенных ветвях лесничего, убитого молнией во время его послеобеденного обхода. Мадлэна скорбела глубоко и тихо. Она теряла в Нарциссе не столько любимого человека, сколько опору дома и отца своего ребенка. Она предвидела для себя впереди большую тяжесть и более суровую ответственность. Кроме того, это рушило заведенный обычай, и за столом оказывалось пустое место, всегда занятое в прежнее время.

Проходили месяцы. Двери и окна оставались закрытыми, как прежде. Смерть не всколыхнула жизни. Только девочка, не обеспокоенная суровостью отца, стала более подвижной и по-детски резвой. И целый день мелькало ее цветущее личико среди цветов сада, среди мигавших крылышками бабочек и оживлялось краской игры, то прячась, то вновь появляясь в чаще высокой травы.

И вдруг вокруг нее произошла большая перемена. Она увидела большого и сильного человека под потолком очага. Вначале он приходил неаккуратно, потом затягивал свои посещения, и вот однажды приподнял Жермену к своим губам и проговорил:

– И Жермена станет тогда нашей дочкой.

После этого ее привели на обширную ферму, где она выросла среди многоголосого шума.

– Ты должна любить фермера, как своего отца.

Понемножку она поняла, что ее мать вновь вышла замуж.

Гюлотт жил вдовцом, как и Мадлэна, с единственным восемнадцатилетним сыном, и всегда ему нравилась эта спокойная и красивая женщина, даже когда сам он был женатым и испытывал горечь неудачного супружества. Потому-то он и был так счастлив увидеть ее снова

свободной. Мадлэна вступила за порог фермы и повела с этим новым мужем, старшим ее на пятнадцать лет, ту же правильную и стройную жизнь, какую жила со своим первым супругом.

У них родилось два сына, и супружеское счастье было нарушено лишь ужасным ударом: Мадлэна умерла от чумной болезни в том же месяце, что и Мокор.

Миновало уже три года этому событию, а скорбь не оставляла фермера. С каждым годом он все больше взваливал заботу о делах на старшего сына Филиппа, предоставляя Жермене орудовать по хлеву, птичнику и по дому.

Спокойная, как и ее мать, и, как она, наделенная внутренней ровной сдержанностью, бойкая фермерша получила в наследство от Мокора энергию и решительность, проявлявшиеся с резкостью. Однако, от них она унаследовала лишь характер. В физическом отношении она походила скорее на бабушку со стороны отца, женщину плодовитую и влюбчивую, которая была замужем четыре раза и, как и у той, на щеках Жермены горел жгучий румянец брюнеток. Жермена как бы на самом деле была создана для ласки и деторождения: ее полная шея твердо держалась на плечах, ее бедра были прекрасно развиты, грудь выдавалась вперед, связки ног крепко соединялись друг с другом, и она охотно исполняла мужскую работу. Когда она была моложе, она любила бороться с мальчиками ее возраста, и они не всегда побеждали ее. Она умела разгружать телеги, поднимала кули с мукой, впрягалась в борону и перетаскивала на вилах тяжелый овечий навоз.

Гюлотт любил Жермену Мокор, как свою дочь. Он не хотел устанавливать разницы между этим ребенком от первого брака и теми детьми, которые были его собственной плотью и кровью.

В деревнях ее звали Жерменой Гюлотт. Она была всегда бодрой и бдительной, от ее глаза ничто не ускользало. Поднималась она раньше всех на ферме, пекла хлеб, стирала и починяла белье, помогала при трудных работах по дому. У нее отсутствовал вкус к излишней роскоши туалета и к бросанию на ветер денег. Это была девушка веселая, любившая посмеяться, и она довольно непринужденно вела беседы с мужчинами. Иногда ее братья брали ее с собой на деревенские праздники. От одного такого праздника, где много ели и плясали, она сохранила воспоминание, связывавшееся с фигурой одного танцора-студента, доброго малого, во время прогулки завернувшего случайно туда. Она долго думала о белизне его кожи, об его щеках, на которые падала золотистая полутень от его усов, об его изящных манерах, о том щекощущем ощущении, которое вызывало его рукопожатие. Обыкновенно же она танцевала с фермерами, с зажиточными мужиками, с золотой деревенской молодежью. От соприкосновения с танцорами, которые близко прижимали ее к себе, втискивали свои колени между ее ногами и временами позволяли себе поглаживать руками по ее талии, она испытывала соблазнительную сладость мечтать о дальнейшем. По ночам плакала в своей постели, чувствуя себя одинокой, тогда как у ее подруг были мужья и женихи. Она испытывала желание и потребность в мужчине. То было смутное волнение, глухое брожение ее страстного и юного существа, сменявшееся глубокой расслабленностью.

Ее положение невесты не совсем было ясно, – ведь, в конце концов, она все-таки – дочь Мокора, а Мокоры обладали довольно скромным достатком, и поэтому женихи медлили свататься. Вот если бы она была дочь Гюлотта, это другое дело! От женихов тогда не было бы отбоя! Некоторая осторожность удерживала наплыв сыновей богатых фермеров, и мало-помалу из года в год стали все более свываться с мыслью, что она останется в девушках. Что же касается брака с простым крестьянином, – она об этом не могла бы думать. Гюлотт никогда не мог переварить мысли, чтобы небогатый зять зажил рядом с ним на ферме. Печальное сознание, что с годами она не стала женщиной, умерило веселость Жермены. Порой она испытывала чувство возмущения. Ее охватывал гнев против этих глупых мужчин, не желавших завладеть ее красотой.

При виде красивого парня, лежавшего в траве сада, влюбленного и улыбавшегося, она была очарована, как благостной вестью. Казалось, немой восторг пригвоздил его к земле. Его трепетавшая и нежная улыбка достигала ее, как молитва. Она заметила, что он широкоплеч, с энергичной и гордой головой, с могучим телосложением, как истый самец, и это ей нравилось. Она стала ему улыбаться в ответ, и в этой улыбке он чувствовал смутный призыв тела, как бессознательную мольбу не покидать ее одну в ее желаньи. Когда она снова увидела его на дереве, сердце ее наполнилось жгучим огнем. Он, значит, вновь вернулся! Значит, правда, что она ему понравилась! И она слышала уже, что говорит с ним, видела его тело, цвет его глаз, его могучие руки.

В полдень, когда заснула ферма, она вышла на поле люцерны, уверенная, что он туда придет. Он пришел. Тогда и узнала она необыкновенную вещь, что этот отважный молодец, который ей улыбался и стоял перед нею, полный страсти, был Ищи-Свищи, то есть разбойник, грабитель, лесной бродяга, который кончит тюрьмой или, быть может, еще того хуже, – издохнет где-нибудь под кустами.

А хотя бы и так. Что же? Зато этот разбойник занимался мужественным ремеслом и был он вольный смельчак, такой, каких она любила, сильный и жестокий, не знавший страха, почти герой. Рассказы теснились в ее воспоминании один за другим. Она вспомнила о ловушках, которые ему расставлялись. Кровь лесничего пробудилась в ней. Она восхищалась его хитростями с животными, его привольным житьем в чаще лесов и тем, что он был сильнее лесников. И потом, углубившись в свои мысли, она смутно почувствовала, что любовь такого человека должна быть выше любви разных мужиков с бледными лицами и сухопарыми плечами.

Глава 6

Ограда, за которой паслись коровы фермера Гюлотта, была в десяти минутах ходьбы от фермы. Пройдя по большой дороге и спустившись по тропе в лесу, скот разбрелся по пастбищу, перейдя по мосту, переброшенному через ручей, который протекал вдоль сочной луговой травы. Невысокие колья образовывали загородку вокруг пастбища. И лужайка спускалась под незаметным уклоном к ферме «Ивовая роща», расположенной на обширной возделанной площади. Справа и слева поднимались холмики, покрытые низкими деревьями, между которыми выступали буки и тополи с довольно сильной тенью. Молочно-белые цветы бельцов прорезали траву светлой дорожкой, терявшейся близ фермы в синеве небес. И по берегам ручья репейник, одуванчики, валериана, дикие гиацинты, ноготки и лесные лютики разрослись тесными светлыми пучками.

Коровы каждое утро на заре покидали хлевы, после того, как пастухи протрубили в трубы. Они оставались на лугу до полудня, затем их уводили часа на два, и снова они шли на зеленое пастбище и ждали там сумерек вечера. Ни одна тропинка не пересекала выгона, по которому раздавалось одно лишь сопение коров, сливавшееся с журчанием ручья под колебавшимися от ветра деревьями.

Ищи-Свищи наслаждался этой тишиной и думал, как хорошо могли бы они тут беседовать с глазу на глаз. Лес расходился вправо и влево и немного дальше круто обрывался, превращаясь постепенно в суровую лесную чащу. Ищи-Свищи чувствовал себя легче и привольней в этом уединении, чем в саду, где постоянно слышался стук шагов. По временам он глядел на красное ложе из сухих листьев под развесистыми буками, ясно представляя два колеблющихся на них тела. Необычайная размягчающая нега наполнила этого охотника, безжалостно сеявшего смерть.

После полудня он растянулся у ручья в траве. Одну руку опустил в воду, заграждая тихое течение воды, отчего подымалась легкая пена. Сонными глазами глядел он, как, мелькая, переливалось под лучами света прозрачное дно. Пауки-плауны молнией мелькали по разным направлениям. Крохотные рыбки пересекали ручей от края к краю, быстрые как стрелы. Дно ручья немного далее спускалось к болоту. Лягушки квакали и плескались с шумом. Над деревней стояла жара, и парило, как в бане.

Он чувствовал себя охваченным этой беспредельной оцепенелостью, которая объяла землю весенней порой, как родильницу. Он валялся на лужайке, как развеселившийся бык, ищущий прохладного местечка. Он искал успокаивающего средства для своего тела, обуреваемого глухим брожением. Темно-зеленая листва, цветущие берега, ручей разъедали его и вливали в него сладострастие, Зевота сводила его челюсти. Он охватывал голову руками или сжимал кулаки, готовый раздавить их. По временам он катался по траве, прижимался горячим телом к ее сырой свежести, прикладывал к языку листья. И из груди его вырывались вздохи. Скрытый в ветвях орешника соловей пел над этой мукой одинокого человека.

Вдруг листья деревьев встрепенились от какого-то волнения. Кваканье лягушек усилилось. И Ищи-Свищи увидел, как дно ручья, минуту перед тем облитое золотистым сиянием, подернулось сероватостью олова. И дуновение теплого ветра пронеслось по лицу земли с шелестом шуршащей травы, и в глубине леса раздалось гуденье. Птицы смолкли.

В то же время раздался голос на тропе, по которой спускалось стадо, и темная масса коров, как крупное черное пятно показалось у загородки.

— Ну, ну! — покрикивал голос.

Он мигом встал, перешел через луг и увидел Жермену, в то время, как она хотела снять помост, переброшенный через ручей.

— Мое почтение, — проговорил он, — будет непогода!

Молния рассекла небо, и тотчас же крупные капли дождя забарабанили по листьям. Загремел гром, внезапно облака разорвались, и разразился страшный ливень. Дождь лил целыми полосами, хлеща по деревьям леса частым дробным звуком, похожим на музыку градин, бьющих по оконным стеклам.

Они оба укрылись под деревом, стоя рядом и слегка прижимаясь друг к другу. Вначале дождь не проникал сквозь листву, а ниспадал сиявшим кругом вокруг ствола, оставляя землю сухой около него. Но вскоре дождь стал протекать сквозь верхние листья и спадал на нижние; струйки дождя все ближе и ближе скатывались на них.

Он сбросил куртку.

– Укройся, – сказал он. – Я-то привык к дождю. На моей спине перебивало столько воды, что хоть пруд пруди.

И он накинул куртку на плечи Жермены. Она позволила ему это, слегка смущенная прикосновением его пальцев, дотрагивавшихся до нее. Он приблизился к ней. Их бедра коснулись друг друга.

Краска крови обдала их щеки. Он решительно взял ее за руку и удержал в своей. В то же время старался найти слова. Хотелось сказать что-нибудь, но язык его не повиновался, и через силу, не зная как начать, он невнятно пробормотал:

– У меня таких вот целых шесть штук.

– Чего таких?

– Шесть курток! Дома только. И одна еще бархатная с панталонами и такой же жилеткой – это чтобы по праздникам надевать.

– Так много?

– Да, и еще другие вещи к тому же.

Протекла минута молчания. Он несколько раз медленно и нежно прикоснулся к ее ладони. Тогда она почувствовала потребность говорить и, указав на тучную черную с белым корову, произнесла:

– Она сегодня вечером отелится, самое позднее – завтра – наверно не известно. Но она непременно отелится.

И, перечисляя своих коров одну за другой, рассказала об особенностях каждой. Белянка обошлась в шестьсот франков. Коровы стали очень дороги. Она прислонилась спиной к дереву и стала бессознательно раскачиваться. Вдруг почувствовала обвивавшую ее под мышки руку, и эта рука старалась привлечь ее к себе.

– Если бы ты захотела, – проговорил он, – мы были бы прекрасными друзьями.

Он глядел на нее сверху, пронизывая глазами ее глаза и переводя их затем на ее шею. Она сделала движение, чтобы высвободиться, но увидела, что была, как скованная. Это ли, по его словам, значило быть друзьями, – ну, нет! Она не хотела, нет, и крикнула ему, чтобы он отпустил ее. Он ей стал говорить о своем характере, о деньгах, которые так легко зарабатывал, о жизни в лесу, и она слушала его с затуманенным взором.

– Нет, нет, – говорила она, – я возьму только того, кто мне понравится.

– Хотелось бы знать, каков твой вкус?

– Прежде всего, – ответила она, – я не пойду из-за денег. Из-за денег ни за что! Деньги не много счастья приносят!

– Я тоже так думаю. С деньгами можно хорошо покутить. На сегодня франков двадцать, а на завтра – ни черта. Случается, что в моих карманах подчас ни гроша. Ну, ладно. А еще что! Думаешь, очень мне нужны доходы, что ли? Все уходит только на выпивку да танцы с девками, на разные проказы в деревнях. Да, наконец, всегда кругом лес к услугам.

Дождь перестал. Высоко в небе показались нежно-голубые и бледные просветы. Вокруг свисали тяжелыми глыбами разорванные облака, расходясь по краям небесного свода. Это поражение бури завершалось потоками беловатого сияния. Радуга блистала на каждом

листочке в каплях дождя. Водяные нити походили на игру жемчужного ожерелья. Теперь потоки света обливали деревья, густые кусты, и чаща леса сверкала проливным дождем блистаний и игрой разбросанной росы. На лугу изумрудом переливалась трава. Мириада блесток словно копошились под листьями, и снизу подымались испарения, озаряясь на солнце, как расплавленная, огнедышащая лава. В конце луга сад «Ивовой рощи» раскинулся неподвижно-золотой скатертью. Земля впитывала в себя воды потока, оросившего ее. От земли поднимался прелый запах, смешанный с ароматом соков.

Они оставались под деревом, не замечая, что дождь перестал и солнце озаряет пейзаж. Они улыбались друг другу, пригвожденные к одному месту под действием неясного ощущения. Внезапно чей-то голос с тропинки позвал:

– Жермена!

Тогда она испугалась, что ее увидят с ним.

– Доброго вечера! – крикнула она.

– Тс! Тсс... – проговорил он вполголоса, – в воскресенье на деревне праздник. Ты придешь?

Она повернула голову вполоборота и взглянула на него своими ясными глазами, не говоря ни да, ни нет.

Глава 7

– Она придет, – сказал он себе.

И тотчас же мысль, что ему нужно будет денег, мелькнула в его голове. И танцы, и выпивка, и какая-нибудь выходка, – все это требует, по крайней мере, несколько экую. Но с той поры, когда им овладела любовь, он жил воздухом природы, не помышляя более ни о дичи, ни о купцах. Даже не ел все эти дни. Тот огромный голод, который он утолял в обычное время добычей, изловленной в лесу, растворился под иссушающим зноем его желания. Он мог бы перечесть свои блюда. Ранним утром, однажды, он убил кролика, бросив в него палкой. Развел костер из хвороста и изжарил кролика на конце шомпола от своего ружья. В это утро он съел бы заодно впридачу и кожу, – до такой степени был истощен его желудок. Два дня спустя он украл петуха за забором фермы «Ивовой рощи».

На этот раз он хотел не только утолить голод, но и полакомиться. Спрятав под полой куртки петуха, он прошел две мили по дороге через лес, забрел на лесную опушку. Там, в одной лачуге приятеля-дровосека, приготовил дичину в тимьяне с солью и перцем. К несчастью, петух оказался очень жестким.

– Меня надули! – проговорил он.

И все-таки, благодаря своим острым зубам, живо справился с ним. Кусок ржаного хлеба и ковш воды довершили завтрак. Кроме того, у него осталось одно крыло и часть остова петуха для дровосека и его жены. Маленькая девочка, которая жила вместе с ними, обсосала потом оставшиеся косточки. Но, как никак, это была прекрасная пища, которой полакомился Ищи-Свищи.

В другие дни, лежа на брюхе в траве, он довольствовался корнями, шалфеем, кресом, всем, что подвертывалось под руку. Как у оленей, в октябре токующих вдалеке от пастбищ, так и его пустое чрево наполнялось страстным влечением к самке. Три первых ночи он пробыл в лесу. Груда сухих листьев предохраняла его члены от сырости земли, и он стряхивал при пробуждении со своих мокрых волос капли росы. Но уже четвертый день, как лил дождь. Майские дожди, острые, как колья – не шутка.

Он прошел тогда через лес и разлегся в лачуге дровосека, в теплоте обтесанных на солнце бревен.

Дровосеки были его старые друзья. Они знали его, когда он походил на шестимесячного детеныша козули. Несколько раз он скрывался у них, когда лесник устраивал облаву на него в кустарниках. Сама старуха, – бесполой и иссохший остов человека, – напоминала ему его мать с ее заостренными зубами, с ее впалым лицом и жесткой дубленой кожей, подобной березовой коре.

– Эй, ты, старая зайчиха, – говаривал он ей дружелюбно.

И эта кличка слегка расправляла морщины на ее застывшем лице. Сам старик был маленький сухой человечек, словно согнутый пополам. Ударом топора у него отрубило левую руку, и она оканчивалась обрубком, который действовал, однако, наподобие руки. Жизнь в лесу придала его лицу подобие волчьей морды, оживленной миганием серых глаз из-под густых рыжих бровей. Из его длинных загнутых ушей торчала клячьими шерсть, как взьерошенный ворс. У него была своя особенная забава, заключающаяся в том, что он притворялся глухим, когда с ним разговаривали. Благодаря этому, он мог не отвечать, когда его спрашивали, или когда его мегера обрушивалась на него, как вихрь, со всей силой своего громкого голоса.

В этом семейном очаге муж оказывался женщиной. Старуха рубила дрова колуном в лесу, раскалывала поленья одним ударом, сильно и без усталости. Рубашка из грубой холстины покрывала ее плоскую грудь, шею и руки; она поднимала и опускала огромный железный колун с правильными движениями, которые равномерно заставляли ее мышцы напрягаться. Так начи-

нала она с зарей и кончала к ночи эту работу, доставлявшую ей трудовой хлеб на двоих, и ни единая капля пота не выступала на ее сухой коже.

Муж ее отвозил поленья, перевязывал лыком хворост или нарезал прутьев для метел и веников. Это были Дюки.

Около сорока лет жили они в своей лачуге, подмазывая ее каждую зиму жирной глиной, заделывая соломой дыры в крыше, поврежденной ураганом, поддерживая свою убогую хижину заплатами, которые напоминали тщательно заштопанную поношенную одежду.

Между этими стариками была затаенная злоба: у них не было детей. Старуха обвиняла в этом мужа, а он – бесплодную утробу своей жены. Мало-помалу, чтобы не начинать вечной ссоры, он замолчал, привыкнув к мысли, что вина была на его стороне. Но старуха все еще продолжала упорствовать в своих настойчивых требованиях бесплодной женщины, и эта попытка постепенно измыварила этого маленького невзрачного человека, исполнявшего теперь в хозяйстве женскую работу.

Внезапно как-то бешеная страсть старухи иссякла.

Однажды утром, уйдя в лес, она нашла под деревом, в запятнанных кровью тряпках, маленькое полумертвое существо, посиневшее от холода. Должно быть, какая-нибудь мать разрешилась там от бремени. Кровь вилась полоской до самой тропинки. Дальше ничего не было видно. Мать, покинув ребенка, скрылась бесследно.

Это было большой отрадой для этих одичалых созданий. Дюки подобрали девочку и, принеся к себе в лачугу, выходили ее на козьем молоке.

Она сделалась настоящей их родной дочерью. Они не могли бы ее любить больше, если бы она была их собственной плотью и кровью; она выросла в их жизнь, как часть их самих, приобретая их грубости, их инстинкты и их ненависть против всего, что не было лесом.

Вначале страх не давал им часто спокойно спать. Могло случиться, что в один прекрасный день объявится настоящая мать; признает в девочке своего ребенка, и это наделает много хлопот. Не то, чтобы старуха покорилась и уступила девочку, – она скорее убила бы ее ударом деревянных сабо; ведь, если она и не вскормила ее своим молоком, то только потому, что не могла этого сделать; однако, разве она не была настоящей матерью для этой девчурки, покинутой случайной родильницей.

К счастью, страхи были напрасны. Ни одно живое существо не явилось, чтобы предъявить права на это создание, брошенное в углу леса. И девчурка продолжала жить в двух шагах от дерева, под которым была найдена. Лес принял в свои объятия эту зачавшуюся в лесу жизнь, смывая лучами солнца, струями дождей и хлопьями снега ужас первородного греха и баюкая это запятнанное создание, как он баюкал бы и королевское дитя. И она росла в слепом неведении своего происхождения, как ужи и ящерицы, жуки и бабочки, среди которых резвилась. Дюки ей ничего никогда не говорили, – почти совсем позабыв, к тому же, что она не была их дочерью. Она называла их папа и мама своим резким голоском молодой козочки. И это родительское чувство стало теперь нерушимым, как спаянные цементом камни. Ко всему прочему они даже не потрудились дать ей какого-нибудь имени. Для чего нужно имя в лесу, среди чащи деревьев? Разве все то множество жизней, которые зарождаются на пространстве не более ладони, имеют имена? Достаточно, чтобы они росли, и тогда это будет жизнью, – вот и все. Дюки повиновались бессознательно этому инстинкту дикарей, для которых существование есть все. Они звали ее Малютка – с той первой минуты, когда распознали ее пол и это название, которое не было именем, так и сохранилось за нею.

Один Ищи-Свищи по своей привычке снабжать всех именами животных, называл ее Козочка.

– Смелей, Козочка, – говаривал он, входя в лачугу, – скачи скорей ко мне на колени.

И она вскакивала проворно и легко, как козленок.

Она любила его, как привычку, как знакомого, смутной и животной любовью. Она таскала его за волосы, била кулаками по лицу, впивалась в его шею с жестокостью молодого щенка. Или же вцеплялась в его ноги, стремясь его повалить, ущемляя своими маленькими пальчиками его икры, как клещами. Он освобождался, смеясь от ее цепких рук и приподнимал ее одной рукой к своему рту, несмотря на ее барахтанье.

Глава 8

У Ищи-Свищи было очень простое средство зарабатывать деньги: браконьерствовать в лесах.

Вечер погрузился в покой. Прояснившееся от дождя небо простиралось над деревьями бледной лазурью, которая озарялась к небосклону золотистым светом. С земли, орошенной дождем, поднимался пар.

Ищи-Свищи направился в чащу. Узкий проход, почти совсем незаметный, вел к кустам ежевики. Он пробирался, согнувшись вдвое, под сцепившимися ветвями. По временам острые колючки царапали ему лицо. Не производя больше шума, чем бегущий по лесу заяц, он прибрел к укромному месту, где было спрятано ружье в плотном кожаном, просмоленном чехле. Он тихонько подполз к этому месту, достал ружье и затем вышел из чащи по тропинке, по которой можно было пройти только ползком. Выйдя оттуда, он прислушался, повернув голову в сторону ветра. Никого. Тогда, осмотрев свой пояс, он засунул ружье за брюки и углубился в лес.

Он пошел походкой надорванного и утомленного старика, опираясь на только что срезанную палку. Он тащил свою ногу, вдоль которой висел карабин. Ширина его плеч как-то сразу исчезла. Он шел, перекосившись на один бок, опустив голову, съезжившись всем своим телом. Благодаря этому, лесничие не могли обратить на него внимания. Эта тощая фигура мелькала почти незаметно между деревьями. Или, если бы даже он и был замечен, то подумали бы, что это убогий бедняк, ковыляющий к своей лачуге.

Это было одной из многочисленных хитростей Ищи-Свищи, принимавшего в тени различные, причудливые виды, и, притворяясь, что медленно двигается, на самом деле шагал широкими шагами. Он взял ружье на всякий случай, так как какое-нибудь животное могло проскользнуть между ногами. К тому же можно нарваться на кого-нибудь, кто недолюбливает браконьеров. И тогда предстоит серьезное дело! Всегда нужно быть готовым ко всему. С некоторого времени, однако, он был осторожен и избегал стрелять. Лесничие могли услышать выстрел, а он чувствовал необходимость, чтобы о нем позабыли немного. Наоборот, силок можно расставить без всякого шума, и это представляло меньше риска подвергнуться преследованию.

Глаза Ищи-Свищи ощупывали лесную чащу. От напряженного выслеживания они светились блеском фосфора. Они чрезвычайно расширились и, быстро вращаясь, окидывали почти мгновенно пространство перед собой. Более сильное, чем обыкновенно, оживление в ветвях, непривычное волнение в кустарниках или предмет, выступавший при свете яснее, приковывали их к себе. Они увеличивались, и огромный лес легко, казалось, умещался в их зрачках. С вытянутой шеей, с колющими и ледяными взорами этот пожиратель теней и безмолвия принимал в это время вид дикого зверя, застывшего настороже. Когда тревога исчезала, его взгляд ослабевал и зрачки его мало-помалу сокращались. Перед ним простирались буки, последние ряды которых все более погружались в сумрак. Со стороны заката лучи света пронизывали темную массу листвы. Местами широкий солнечный луч пробивал косым сиянием воздух, словно разрезал деревья надвое, скользил по земле красной полоской, и птицы одна за другой смолкали. Спускался безмолвный покой.

Небо полыхало, как раскаленные угли. Словно красные мазки краски пестрили листву. Деревья принимали очертанья неподвижных бронзовых колонн на блеклом золоте вечера. Одно мгновение вся земля словно поплыла в розовом крутящемся паре. Словно зарево пожара озарило дали, позлащая пурпуром ряды деревьев, и в лужах воды брызнули холодные искры крови. И, вслед за тем, красное сияние, как гаснущие угли, стало бледнеть, принимая посте-

пенно нежно-розовые умирающие цвета, которые в свой черед растаяли в серой мгле ночи. И листва деревьев внезапно померкла.

Тогда он выпрямился.

Остаток дня окрашивал еще в пепельный цвет под его ногами землю. Он вошел на широкое открытое место, обсаженное молодыми деревьями. Проезжая дорога, прорезала пополам это местечко, и с той и с другой стороны простиралась лужайка, покрытая диким терновником и низкорослым вереском. В вереске местами виднелись проходы, которые выгрызли зайцы и кролики. Он наклонился и некоторое время неподвижно глядел на эти яркие следы. Одни из них, совсем еще свежие, вели от лужайки направо, к лужайке, которая находилась влево от него. Следы более близкие перемешивались с более крупными следами. Козуля со своим детенышем, без сомнения, пробежала по этому месту. Он вытащил ружье из-под куртки, взял патронташ и вынул оттуда патроны. Потом, неподвижно вытянувшись во весь свой рост среди тишины леса, прислушался, – не было ли слышно где-нибудь лесничих. Ночь была безмолвна. Шелест веток и слабый ветерок колебали одинокие листья, и порой доносился сдавленный и мягкий крик животного. Парень перекинул ружье через плечо, опоясался патронташем и, согнувшись вдвое, затаив дыхание, глухо переступая ногами, пошел по тому направлению, где были следы животных. Отпечатки следов вместе с клочками шерсти виднелись теперь ясно в разных местах, хотя ночь была полная. Но дневной свет, казалось, застыл в зрачках Ищи-Свищи и, как у кошки, они расширились и блестели.

Он был уверен, что держал верный путь. На некотором расстоянии сильно помятая трава говорила об обычном месте, по которому проходили животные через лес. По всей вероятности, козуля с детенышем пойдут по той же дороге, чтобы вернуться в чащу кустарника, и Ищи-Свищи стал оглядывать кругом себя, ища глазами гибкое и молодое деревцо. Небольшая березка возвышалась посреди кустов вереска. Он нагнул ее и, привязав к ней медную проволоку, сделал широкую петлю. Потом нарвал листьев вереска и натер ими свой капкан, чтобы уничтожить запах рук. Если эти два зверька пройдут по той же дороге, тогда детеныш, который всегда шествует впереди, безусловно всунет голову в тенета, и, судя по широким следам копыт, будет поистине прекрасный улов. Ищи-Свищи покинул это местечко. Яркий месяц появился за деревьями, погружая лес в светлый сумрак. И слабое длительное дуновение казалось дыханием земли.

Ищи-Свищи опустился на четвереньки и поскакал короткими прыжками, исчезая за взъерошенными кустами. Он спустился по дороге, прорезавшей лужайку, на довольно широкое открытое место. Да, козленок – это уже деньги. Хотя он мог, правда, вырваться и удрать, но в конечном счете лучше иметь двух животных, чем одно. Эти мысли о добыче перемешивались в его голове с любовным ощущением – прижать к себе Жермену, напоить ее вином и потом, может быть, даже насильно завлечь под покровы ночи. Очертания сгорбленной фигуры сливались с тенями обильно росших в этом месте трав. Убегая, он порой задевал ногой за сухие ветки, которые трещали, и это было единственным шумом, который он производил. Он широко расставлял на земле ладони, поддерживая на руках свое тело и вскидывая бедрами, чтобы едва касаться ногами земли. Он искал удобного прохода, чтобы скользнуть в густоту кустарника, видневшегося широким черным пятном под лучами луны на расстоянии ружейного выстрела. Он нашел укромное местечко, в виде тропы, расчищенной животными, которые здесь часто пробегали. Тропинка тянулась в вереске, утоптанная копытами животных, и по временам терялась в сплетениях ветвей терновника.

Небольшой дубок рос там рядом с тремя березками, и эти четыре дерева кидали трепетавшую тень на обширную открытую площадку.

Ищи-Свищи поставил ногу на сук дубка, схватился рукой за другой и, упираясь коленями, вскарабкался до верхних веток. Отсюда он господствовал над кустарниками, над раз-

росшейся травой, над зигзагами тропинки, тянувшейся до самой чащи. Он раскрыл свой нож, воткнул его в ближайший сук и прислушался.

Глубокий шепот разносился под огромным голубым сводом ночного неба. Это были нежные струи ночного ветра, который медленно и мерно веял тихо и торжественно. Он тянулся в деревьях, дул с кустарников, выходил из чащи и был такой далекий и вместе такой близкий. И к этому тихому шепоту примешивался другой глухой ропот, который производили звери, бродя по лесу ночной порой. Голодные звери охотились друг за другом в ночной мгле, и все это прожорливое, истребляющее себе подобных царство создавало в чаще леса рокочущий шум, подобный шелесту ветра в Сучьях сосен.

Ищи-Свищи привык к этой необычайной симфонии скрежета зубовного и лязга челюстей. Он различал в колеблющихся листьях скользящие между кустами выгнутые спины, задевающие за нижние ветви деревьев задние лапы, мелькание гибких козуль, убегающих в тайные убежища чащи кустарников, короткие прыжки зайцев, прогрызающих своими острыми зубами проход над самой поверхностью земли. Порой в этот пространственный ночной ропот врезывались звуки мерно скачущего топота ног. К кустам бежали жертвы и за ними по пятам бешено устремлялись дикие охотники, раздавалось сухое трение рогов друг о друга и шум слабеющих голосов. И потом этот топот стихал, пропадал в отдалении в легком, замиравшем стуке копыт.

Ищи-Свищи внимал доносившемуся до него невыразимому ужасу всего этого рассеянного в сумраке животного царства. От этой мятущейся толпы животных шел запах, который распространялся среди ночи вокруг него и опьянял его, доводя до головокружения. Он хотел бы держать всю свою добычу на кончике своей винтовки, схватиться с ней врукопашную, выкупаться в крови животных, зарезав их ножом. Широко раскрытыми глазами он видел, как животные, скупивались неясными и скользящими тенями в прозрачной мгле кустарника. Эта непрерывная дикая скачка, казалось, застыла неподвижно среди сновидений леса, и нежные вздохи, лепет любви и боли неслись в легком воздухе.

Вдруг тихая жалоба прорезала пространство. Это самец, подделываясь под крики самки, старался привлечь ее и в то же время издавал пряный сальный запах, как аромат любви.

Ищи-Свищи прислушался.

Оживление пробежало в чаще, и легкое волнение пронеслось по листьям. И почти в то же время на лужайку выскочил, высоко вздернув головку, кабарга. Он остановился как бы в нерешительности, глубоко вдыхая ноздрями свежий воздух. Нежное сияние луны обдало его, блестело на его шерсти, преломлялось снопами косых лучей в его круглых глазах, словно воспламенив их, и он вдруг снова поскакал, на этот раз в сторону дуба.

Ищи-Свищи, согнувшись в дугу на своем суке, с головой, ушедшей в плечи, приподнял свою страшную руку, более твердую, чем дубина. Кровожадной страстью дышали его ноздри. Он раскрыл ножик и подкарауливал то место, куда хотел ударить.

Кабарга сделал еще один прыжок и тревожно вытянул свою тонкую мордочку.

Воздух прорезал свист, и тяжелый, как огромная масса, нож вонзился между лопатками животного. Кабарга коротко вскрикнул, встал на задние ножки и, минуту спустя, дважды перевернулся.

Одним прыжком Ищи-Свищи соскочил с дуба. Животное трепетало мелкой и частой дрожью. Его копытца порывистыми толчками сбивали ближние листья, судорога сводила его челюсти, и изо рта текла струйками кровь.

Ищи-Свищи надавил свой нож, вдавил его глубже по самую рукоятку и вытащил. Кабарга в последний раз попытался встать на колени и вдруг упал с поникшей головой. В глазах его стояли крупные слезы.

Месяц озарял бледным сиянием эту смерть. Ищи-Свищи стоял со скрещенными руками, глядя, как его добыча изгибалась и вздрагивала. Он любовался своим ударом, удовлетворен-

ный, что выбрал удачное место. Молчаливый, нечувствительный к смерти, которая все еще медлила, он ждал мгновения, чтобы унести животное. С последней судорогой отлетела жизнь.

Ищи-Свищи поднял животное за ноги, чтобы определить его вес. Это был годовалый кабарга. На его крепком лбу начинали появляться гладкие и крупные зачатки рогов.

Ищи-Свищи заклепал рану, нанесенную ножом, и остановил кровь. Потом, подбросив тело кабарги, он взвалил его себе на плечи.

Нагруженный этою ношей, голова которой ударялась об его бедра, он углубился, пройдя через лес, в чащу, которую недавно покинул и где были свалены в кучу поленья. Он стал рыть ногтями землю. Опустил кабаргу в отверстие и набросал поверх сухих листьев.

У него имелся свой план.

Месяц освещал лес отвесными лучами. Словно озеро, разливалось сияние между деревьями. Гладкая кора берез блестела в бледной дали. Это было сияние тяжелой и ясной полночи, простиравшейся над сонным лесом.

Ищи-Свищи рассчитал, что до утра ему оставалось еще четыре часа. Час ходьбы до лачуги Дюков, час – на отдых, два часа – на поиски за дичью и чтобы снарядиться в путь в город: ему было достаточно этого времени.

Ищи-Свищи двинулся через лес. Он не таился больше: шел, выпрямившись во весь рост, стараясь лишь по старой привычке заглушать шум своих башмаков. С веселым сердцем, насвистывая сквозь зубы, он проходил по освещенным луною местам, под развесистыми буками, качавшимися от ветра. Кролики шарахались под самыми его ногами. Он прислушивался, как они скрывались с сухим шелестом в густых кустарниках. Порой белодушка, полевая мышь или барсук задевали его своими гибкими телами. Он убил ударом каблука одну белодушку и прикончил ножом двух кроликов.

Так совершал он свою работу истребления ради собственного удовольствия. Он был неусыпным оком и чутким ко всякому шороху ночи ухом, вечно – бдительной хитростью, невидимой рукой, наносящей удары и прекращающей жизнь. Он был сама смерть. Казалось, сам лес начинал трепетать и вздрагивать при его приближении.

Он достиг лачуги Дюков.

– Ну, старая зайчиха! – крикнул он, стучась в дверь.

Изнутри пробормотал надорванный голос.

– Ты ли это, сынок?

– Ну да, конечно!

Через минуту голые ноги зашлепали по земле, и старуха показалась на пороге, тощая, как скелет.

Из-под рубашки из грубой шерсти выдавались ее костлявые члены. Она привыкла к его утренним посещениям.

– Ну, что у тебя?

– Да вот на заре надо бы тебе сходить в лес – этак через два часа. Да прихвати с собой тачку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.